

Татьяна Горичева

О БЕСКОНЕЧНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО

"Никому нельзя посоветовать быть религиозным. Религия — это несчастье, которое с фатальной необходимостью преследует определенных людей и переходит от них на других. Это несчастье, под давлением которого Иоанн Креститель бежит в пустыню, под властью которого появляется такой тяжелый и долгий вздох, как 2-ое послание к Коринфянам..."

Так пишет Карл Барт, один из тех, кто считал, что христианство — это не религия. Кто был испуган формой религиозного, неизбежным фарисейством всякой уверенности быть религиозным.

На самой вершине человеческого существования человеку грозит гибель, талящаяся в недрах его собственного самосознания. В одну секунду раб Божий может стать рабом греха и смерти. Опреде^ляющее веры, желание обладать Богом как объектом — вот черта религиозного фарисейства. Кажется, что невозможно победить этот грех. Это — трансцендентальная иллюзия веры, как сказал бы Кант, поскольку от нее не избавиться, она присуща религии как особой ф о р м е человеческого существования. Гордыня самосознания разлучает нас с Богом. Ведь сказано: не будете как дети, — не войдете в Царство Небесное. Ужас перед этим грехом заставил протестантизм бежать от формы вообще, признать Бога недоступным, положить между Ним и человеком пропасть, раствориться и затеряться в мире. В основе этого бегства — отчаяние и неверие. Пропала надежда, и не появилась надежда сверх надежды, признана слабость и бессилие человека, но забыто, что в этом бессилии — вся его сила.

Религиозное, ставшее некоей стадией на пути духовного развития /см. Киркегор/, обрело наглядность, ове^ществовалось и замерло, оно подчинило человека принудительности собственного опыта, сделало его рабом внешнего, слугой формы. Современное богословское и философское мышление без труда разделяются со всяким формализмом.

Все надежды на внешнее философией высмеяны и мифоложены. Всякая форма изобличила свою двусмысленную природу. Особенно хорошо удалось это сделать Фрейд. Читая его, находим, что невроз и религия формально совпадают. Боязнь греха и нечистоты совпадает по форме с *hysterical neurose*, культ страдания у христианских святых может быть описан как стремление к мазохизму, бегство евреев в уединенную пустыню, желание их спрятаться квалифицируется как подавленный эксгибиционизм и т.д.

В психоанализе еще раз выявляется лицемерная природа врага нашего, князя лжи и притворства, стремящегося походить на Бога. Ведь Антихрист по преданию — обезьяна Христа.

Но Фрейд знал только болезнь и не знал здоровья. Он поэтому не знал, что не всякая болезнь — это болезнь к смерти. Им должны быть благодарны психоанализу — в нем человечество собственными силами /несомненно по провидению Божию/ прошло *via purgativa*, освободилось от упования на собственные возможности, заглянуло в самые глубины греховности. В нем изгнан всякий шум и оскобно "всякое витайское мышление". Он помог осознать, что

- ✓ Новая Весть звучит только среди полной тишины. Фрейд по-
- ✓ мог очистить наше понимание святости. Он открыл ее совер-
- ✓ шенную ф а к т и ч н о с т ь, ее несводимость к психо-
- ✓ логическому, этическому, эстетическому. Син Божий пришел на землю во плоти, это — факт. Ясно, что этот факт не
- ✓ может быть антиципирован априорно, он совершенно уника-
- ✓ лан, единичен, невоспроизводим. И любой имманентизм в
- ✓ понимании этого факта внесет лже-формы, сделает фак-
- ✓ тичность только возможной, человечески конструируемой.

Ясно, что упасть в имманентизм и формализм необычайно легко. Тогда целое святости распадается на множество этических и психологических интерпретаций, а человек же уже не человек, а legion бесов, амбивалентность становится основной чертой его характера. Грех разделяет в человеке тело и душу. Целе-мудрее одухотворяет плоть и овещает дух.

Как же найти ту границу, где кончается невротизм религиозного и начинается целомудрие веры? Где та надежда, которая не улавливается мирским, которая приходит тогда, когда исчезают все другие надежды? Где эта бесконечно-малая величина, отделяющая человеческое от божественного?

Интересно здесь обратиться к философии неокантианцев, к понятию бесконечно-малой, выдвинутому Когеном. Понятие бесконечно-малой принадлежит не только математике, но и философскому спекулятивному мышлению. И, может быть, есть некоторые основания утверждать вслед за Когеном, что в этом понятии — тайна и истоки всей современной мысли вообще.

Бесконечно-малая величина — величина интенсивная и производящая. Коген анализирует способ построения окружности с помощью касательной, теории рядов в алгебре, ускорение в динамике, он говорит, что точку можно мыслить не только как завершение чего-то /линии/, а скорее, как начало нового, задающее этому новому направление и, значит, "строющее" его. Если точка в античности имела чисто негативный смысл, была лишь границей линии, то в новейшей математике — она уже нечто новое, она задает направление, выступает позитивно. Это теперь не конец, а начало линии.

Коген развивает понятие бесконечно-малого, критикует Канта. Как известно, в философии Канта существует множество фундаментальных разделений. Познание, кантианский мыслитель разделял на чувственное и рассудочное. Без чувственности рассудок пуст, чувственность же без рассудка слепая. С помощью этих двух факторов он предлагает мыслить предмет. Но это на деле оказывается невозможным. Например: прямоугольная форма плюс красный цвет плюс твердость и т.д. Целого предмета не получилось. Где же найти гарантию целого?

Возможно, что для восприятия целостности существует определенная способность, создающая предметность в

образе целостного. Благодаря ей, мы за разрозненными ощущениями воспринимаем неделимый предмет. Это и есть реальность предмета в опыте. Причем, поскольку предметность не делится на части, реальность выступает не как экстенсивная, а как интенсивная величина. Не только бесконечно-малая величина может быть понята как неделимая, т.е. интенсивная, только она является основой как мышления, так и бытия — так рассуждает Коген. Он справедливо обвиняет Канта в смешении чистого созерцания с эмпирическим. Кант, действительно, остался в рамках сенсуалистического предрассудка, он прикован к ощущению, которое само по себе не может быть чистым.

У Канта все содержание сводилось к этому "психологическому" ощущению. Это понимание опыта было психологичным и сенсуалистичным, что повлекло за собой впоследствии дуализм опыта и реальности. Опыт в послекантианской традиции стал чем-то субъективным, от него спешили вообще отказаться все те, кто хотел выйти к трансцендентному, быть реалистом /См. например, М.Бубер "Я и Ты"/. В контексте нашей проблемы мы можем использовать это понятие бесконечно-малой ^{сск}величины производящей и интенсивной, чтобы хотя бы спекулятивно и на холодном языке метафизики положить пределы экстенсивности религиозного.

Бесконечно-малое пространство отделяет невроз от эскиза, сублимацию от олухотворения плоти. Но за этим бесконечно-малым и его неуловимостью для формального взгляда скрыта реальная бездонность и бесконечность. Тело и душа, разделенные грехом, соединяются лишь в пределе святости /в бесконечно-малом святого/. Подвизник должен жить и р е д е л ь н о, каждый его шаг — это шаг, устремленный к последнему пределу, к смерти. Смерть — бесконечно-малая нашей жизни. Смерть понимается, но не созерцается, она — величина интенсивная. Смерть человека — вечная, неуловимая граница, отделяющая бытие от небытия.

Аскетический опыт — это опыт ожидания конца. Даже исторически, ожидание конца света стало мощным стимулом

для распространения аскетизма во II-ом веке, когда знали, что конец света наступит еще в этом поколении /Тертуллиан/. Монашество индивидуализировало впоследствии это всеобщее ожидание конца, оно преобразовало его в каждодневное ожидание смерти.

Воскресание тела уже в этом мире, обратение ангельского подобия, возвращение рай-пот черты совершенной, монашеской жизни. Но к этому совершенству идут трудным и тесным путем. У з в е н в р а т а в е д у т в ж и з н ь в е ч н у ю .

В опыте монаха нет успокаивающей "данности", апрорной программы, обнадеживающей экстенсивности жизни. В нем есть вечно живая реальность зерн, неуловимая для формального взгляда. Его жизнь — "повседневное мученичество", в ней нет мелочей. В самом малом умеет увидеть он глубину и тотальность. К этому научил его Сам Господь, приравнявший 2 лепты вдовицы всем сокровищам Иерусалимского храма, научивший нас молиться в тишине, ценить тайное, предпочитать множеству забот Одно слушание и Одно исполнение.

"Молитва тишины, — пишет Бальтазар, — это молитва, в которой экстенсивное заменено интензивным, постоянно блуждающий дискурс мышления вытеснен интуицией, которая единым взглядом охватывает больше, чем любопытные глаза неопытного со множеством их движений".

Фарисейство исходит из экстенсивно понимаемого опыта, подлинное же сияние требует отказа от всех прелестных и чувственно-рассудочных образов мира сего, бесконечность величия Божьего откидывается в предельном самопожертвовании и самоустранении, в бесконечно-малом невидимом опыте подвига.